

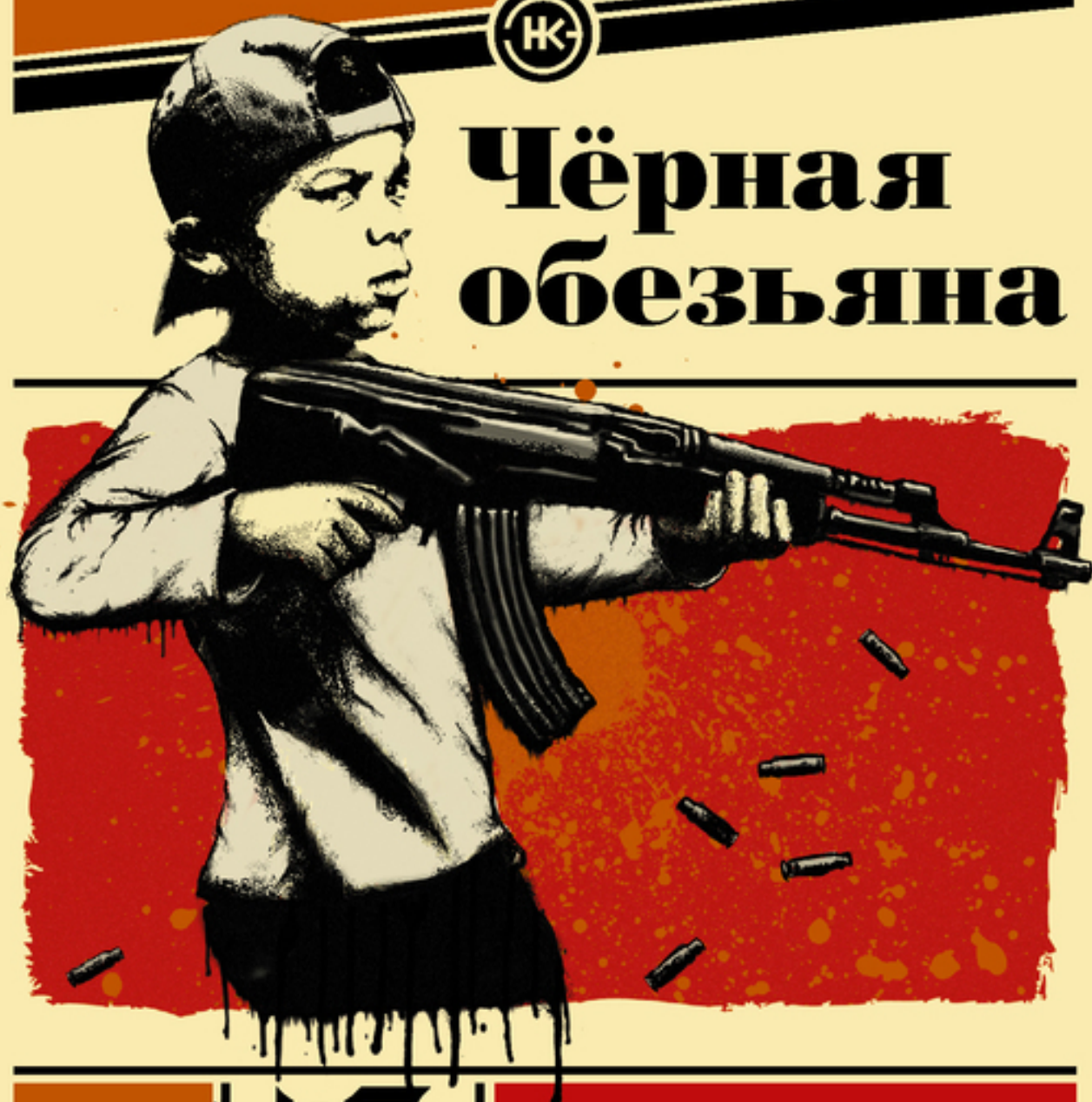
З · А · Х · А · Р

Одно лето в аду

ПРИЛЕТШИН



Чёрная обезьяна



18+



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Эксклюзивная новая классика

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВАЯ КЛАССИКА

Захар Прилепин
Черная обезьяна

«АСТ»

2011

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Прилепин З.

Черная обезьяна / З. Прилепин — «АСТ»,
2011 — (Эксклюзивная новая классика)

ISBN 978-5-17-101211-3

«Черная обезьяна» – новый роман Захара Прилепина, в котором соединились психологическая драма и политический триллер. Молодой журналист по заданию редакции допущен в засекреченную правительством лабораторию, где исследуют особо жестоких детей. Увидев в этом отличный материал для книги и возможность бежать от семейных проблем, он пускается в сложное расследование и пытается связать зверское убийство жителей целого подъезда в российском городке, древнюю легенду о нападении на город «недоростков», историю жестоких малолетних солдат в Африке... Если только всё это – не плод его воображения.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-101211-3

© Прилепин З., 2011
© АСТ, 2011

Захар Прилепин

Чёрная обезьяна

© Захар Прилепин

© ООО «Издательство АСТ»

Когда я потерялся – вот что интересно... Бредёшь, за собой тянешь нитку, истончаешься сам, кажется, вот-вот станешь меньше игольного ушка, меньше нитки, просочившейся туда и разъятой на тысячу тонких нитей – тоньше самой тонкой из них, – и вдруг вырвешься за пределы себя, не в сторону небытия, а в противоположную – в сторону недобытия, где всё объяснят.

Потому что едва только очутился здесь – сразу потерялся, запутался в руках родителей; когда ещё едва умел ходить, они запускали меня, как косопозый кораблик, на сухой белый свет: иди ко мне! – суровый мужской голос; ну-ка, ну-ка, а теперь иди ко мне! – ласковый женский.

Куда к тебе? Зачем ты меня звал, художник, пахнущий табаком, с порыжелыми от красок руками? Зачем ты звала меня, пахнущая молоком, с руками, побелевшими от стирки? Я пришёл – и что теперь? Рисовать, стирать?

Или потерялся в своём пригороде, где забрался на дерево и вдруг застыл, омертвел, без единой мысли, пока голоса соседской пацанвы, потерявшей меня, не смолкли, не растворились в мареве, – и тут вдруг, на другом берегу грязной, сизой реки, возле которой мы искали себе забав, увидел старуху в чёрном; она шла медленно и спокойно – как Божий сын на картине одного художника; потом, когда я увидел эту картину, – сразу узнал старуху, только у моей были странно длинные руки, почти до земли. Тогда я ссыпался с дерева, оставив ключья белой кожи на хлётких, корябистых ветках.

И когда уже был дома, вдруг понял, что это и не старуха была никакая. А кто тогда? И куда она шла? Здесь на реке не было моста! Что она сделала, дойдя до грязной воды?

Или потерялся в большом городе, где смотрел на вывеску магазина, – я тогда уже умел читать и сначала понял смысл букв, а потом вдруг потерял, – и с восхитительной очевидностью мне, еле смышлёному ребёнку, стало ясно, что слова бессмысленны, они вместе со всеми своими надуманными значениями рассыпаются при первом прикосновении – оттого, что и значенья, и слова мы придумали сами, и нелепость этой выдумки очевидна. Куда идти, когда всё осыпается, как буквы, которые можно только смести совком и выбросить в раскрытую дверь, в темноту, чтоб единственная звезда поперхнулась от нашей несусветной глупости.

А?

* * *

Куда-то поехал мобильный на вибросигнале. Он был похож на позабытый вагон, который вслепую, без руля и без ветрил, ищет свой состав.

Полюбовавшись на его ровную спину, раздумывая: а не ударить ли по нему кулаком, чтоб успокоился, я всё-таки решил поговорить.

– Вас вызывают на работу, – услышал я в трубке секретаря главного.

Я работаю в газете.

Сажу в большом помещении, где трудятся ещё пятнадцать человек, которые создают материалы разной степени пошлости.

Я стараюсь не общаться с коллективом, и у меня это получается. Никто в коллективе не имеет детей, поэтому все подолгу спят и являются на работу к обеду. У меня дети есть,

поэтому, отправив их в детский сад, я уже в восемь с копейками бью по клавишам, а к обеду, сдав материал, сбегая. В худшем случае встречу кого-нибудь, поднимающегося по лестнице.

Главный полулежит в кресле за длинным столом и неустанно крутит ключи с многочисленными брелоками на толстых пальцах. Хохочет он чаще, чем говорит. Он хохочет, когда здороваётся, хохочет на каждую реплику собеседника, едва может ответить от хохота и совсем уже заходится в хохоте при прощании.

Похохотав, он сказал, что есть возможность сходить в один то ли паноптикум, то ли террариум, меня проводит Слатитцев, "...вы, кажется, знакомы?" – киваю и слышу хохот в ответ, так смешно я кивнул, наверное, "...посмотри там на экспозицию, а потом решим, что с этим делать..." , "...этот материал может нам пригодиться", ха-ха-ха. Ха.

Когда я уходил, главный дрожал и побрызгивал, как огромный мясной закипающий чайник.

Мой давний знакомый Слатитцев, напротив, встретил меня совсем безрадостно.

– Только одного не пойму – кто тебя пустил сюда? – сказал он вроде как и не мне.

У Слатитцева были кривые зубы, и он втайне меня презирал.

Мы шли по гулкому коридору с выкрашенными в грязно-синий цвет стенами. Слатитцев ещё раз обернулся, сверяясь со своим представлением обо мне. Всё было как ожидалось: ничтожество, которому по непонятным причинам повезло, – я.

Мы познакомились несколько лет тому на одном литературном семинаре. Слатитцев тогда много и с готовностью улыбался, глаза при этом у него были очень внимательные, с меткими зрачками. В те времена он написал роман из жизни студентов и студенток, всегда носил его с собой в распечатанном виде и подолгу читал вслух, если кто-нибудь неосторожно интересовался: "А что это... у вас?"

Я сам полистал его сочинение – естественно, в поисках сцен студенческого прелюбодеяствия – и сразу был вознаграждён, на третьей же странице. В сокращённом виде роман опубликовал журнал "Новая Юность". На этом литературная карьера Слатитцева завершилась, зато он неожиданно объявился в красивом и большом доме, где заседали государственные господа, в роли клерка по неведомым мне вопросам.

Однажды мы случайно пересеклись в одном высоком коридоре с тяжёлыми, будто позолоченными шторами на огромных окнах.

– Всё пишешь? – спросил Слатитцев, заметно дрогнув лицом. Я ответил.

За весь разговор он ни разу не улыбнулся, хотя я пытался его рассмешить. "А ты чего без романа?" – спросил, например, кивком указывая ему под мышку.

Теперь мы шли к первому посту. Паспорт лежал у меня в заднем кармане лёгких брюк.

Человек в окне – полицейский рукав, волосатое запястье, – разглядев мягко распахнувшийся документ, передал мне эластичный четырёхугольник, это был пропуск.

Слатитцева дальше не пустили. Я пошёл в сопровождении поджарого полицейского лейтенанта.

Слатитцев смотрел мне в спину. Показалось, что он шевелит зубами.

Этот коридор был бежев и куда более светел.

Спустя минуту офицер открыл огромную дверь и, кивнув в мою сторону, ушёл.

Сидевший за дверью в аккуратной комнате молодой майор набрал номер на телефоне, нажав всего одну кнопку. Долго ждал ответа, глядя в стол. Можно было б написать здесь: я осмотрелся, – когда б мне было куда смотреть. Каменный куб, человек у пульта быстро назвал мою фамилию вслух и сразу положил телефонную трубку, услышав однозначный ответ.

Ещё через минуту за мной зашёл высокий brunet лет тридцати, в джинсах и майке-безрукавке. Тёмно-розовая кожа, глаза слегка нависают и припухшие, почти африканские губы. Он представился: "Максим Милаев!"; его твёрдое и приветливое рукопожатие означало: "Насколько я понял, вам можно доверять, что ж, попробуем".

На этот раз – идеально белый коридор, двадцать шагов до лифта.

– “А симпатичный малый, – подумал я. – Даже странно. У них теперь новое поколение выросло, которому позволительно быть со вполне милыми и запоминающимися лицами?”

В просторной и ароматно пахнущей кабине мы спустились куда-то вниз; показалось, что глубоко.

– Мне сказали, что это лаборатория, а тут как будто тюрьма, – сказал я.

– Вы были в тюрьме? – с улыбкой спросил мой спутник.

Я улыбнулся ему в ответ.

Через последний пост – четыре отлично вооружённых человека в камуфляже, широкая автоматически открывающаяся дверь – вышли в странное, пахнущее мылом помещение, похожее на огромный вагон, но без окон. Двери здесь тоже открывались как в купейных вагонах.

Максим с усилием потянул первую же, она съехала влево, открыв застеклённую комнату с кроватью, столиком и несколькими книгами на полке.

На кровати сидел человек и сквозь стекло спокойно смотрел на нас.

– Он нас не видит, – сказал Максим. – Стекло непроницаемо.

Максим, кажется, ожидал моего вопроса, но я его не задал.

– Это Салават Радуев, – пояснил он то, что я видел своими глазами.

– Которого убили в тюрьме, – добавил я просто.

– Ну да, – в тон мне ответил Максим.

Неподвижно сидящий Радуев был безбород и походил лицом на гостеприимного дауна.

Глаза его тепло и сливочно улыбались.

– В восемнадцать лет – штукатур стройотряда, в двадцать один год член Ингульского комитета комсомола, в двадцать девять лет бригадный генерал, организатор многочисленных терактов; пережил как минимум два покушения, готовил спецгруппы для взрывов на атомных станциях, был задержан, в тридцать пять умер в колесамской тюрьме, похоронен по инструкции, согласно которой тела террористов не выдаются родственникам для погребения, – готовой скороговоркой произнёс Максим.

– Кличка Титаник, – добавил я. – Потому что пуля попала ему в голову и на место раздробленной лобной кости вставили титановую пластину.

– Которой на самом деле нет.

– Ну. Ничего нового... кроме того, что он сидит, как в аквариуме, здесь. Что вы с ним делаете?

– Изучаем, – сказал Максим и с мягким гуркающим звуком закрыл дверь. Радуев, не вздрогнув, улыбался, пока его не скрыло.

– Поговорить с ним нельзя? – спросил я, глядя в дверь.

– Нет.

– А это... – задумался Максим у очередной двери, – собственно, это бомж. Ей тридцать четыре года, хотя выглядит... да, несколько старше. Поочерёдно убила шесть своих новорождённых детей. Мусорная урна, в другой раз прорубь, в следующий – столовый нож... Про одного просто забыла – он пролежал в квартире несколько дней, пока...

Женщина остервенело тёрла глаза ладонями. Уши её отчего-то казались сильно обветренными и шелушились, волос на голове было мало. Из-под юбки торчали белые ноги, пальцы на ногах смотрели в разные стороны, словно собрались расползаться кто куда.

Дверь закрылась. Мы прошли ещё десять метров до следующего бокса.

Здесь жил насильник: обвисшие веки, обвисшие руки, обвисшие щёки, обвисшие губы, обвисшие плечи. Если его раздеть, на нём всё бы показалось будто навешанным и наскоро пришитым. И лоб мягкий – возьми такую гадкую голову в щепоть, и на ней останутся следы твоих пальцев.

Ещё десять метров вперёд.

Двое лобастых в соседствующих боксах – наёмные убийцы. Первый с одним быстро бегающим глазом и другим буквально заросшим перекрученной кожей, у второго маленьких глаз в глазницах не разглядеть.

Последний бокс самый большой, в несколько комнат, вдоль которых можно пройти по специальному, с мерцающим сизым светом, коридору.

В комнатах сидели, стояли и медленно ходили невзрачные дети, пятеро.

Лица их были обычны, не уродливы и не красивы: один русый, один тёмный, один разномастный – с седым клоком в рыжеватых волосах. Четвёртый – то ли бритый, то ли переболевший какой-то ранней болезнью, лишившей его волосяного покрова, сидел к нам спиной и, кажется, смотрел на единственную в помещении девочку, рисовавшую очень толстым коричневым фломастером на белом листе непонятный узор.

Фломастер она мягко сжимала в кулаке.

Максим молчал.

– Кукушата, выронившие из гнезда чужую кладку? – поинтересовался я.

В коридорной стене напротив многокомнатного стеклянного бокса обнаружили откидные стулья: Максим раскрыл один для себя, затем предложил присесть мне.

– Вы не боитесь, что они подерутся, поранят друг друга? – спросил я.

– Они раньше жили в разных боксах. Спустя какое-то время мы попробовали селить их парами... Потом поселили всех вместе. Они никогда не ругаются и не ссорятся. Тем более что некоторые из них глухонемые, а те, что в голосе, – разговаривают какой-то странной речью, будто птичьей, только некоторые слова похожи на человеческие. В общем, им не так просто поругаться, – вдруг улыбнулся Максим. – К тому же все они знакомы, и даже, возможно, родственники: сейчас всё это выясняется.

– Сколько им лет?

– Где-то от шести до девяти... вот этот тёмненький самый младший.

Тот, о ком говорили, включил панель телевизора, подвешенного к потолку, и уселся напротив, напряжённо разглядывая выпуск новостей. Иногда он потряхивал головой, словно видел что-то глубоко неприятное. В течение минуты остальные недоростки собрались у экрана.

Все сидели спокойно, разве что пацан с рыжиной постоянно чесал чёлку.

Мы помолчали ещё немного.

Похоже, Максиму было здесь любопытно находиться – в большей, чем мне, степени.

– Выглядят вполне невинно, – сказал я, уже скучая.

– Вот-вот, – согласился Максим. – А наши специалисты уверяют, что... они более опасны, чем все те, кого мы видели до сих пор, – Максим не вкладывал в свои слова никакого чувства.

Парень с рыжиной вдруг обернулся и поискал кого-то глазами, дважды наискось скользнув по моему лицу.

Я запустил ладонь под мышку и вытер внезапный пот. Незаметно принюхался к извлечённой руке. Пахло моей жизнью, было жарко.

* * *

– У меня нет ответов на ваши вопросы, – сказал Максим в кабине лифта, – но я вас отведу к одному человеку, который здесь работает. Может быть, он...

Мы поднимались, но совсем недолго. Я успел поинтересоваться, где они нашли этих недоростков, – Максим не знал. Спросил, подозревают ли их в совершении какого-либо насилия, – он снова оказался не в курсе.

Створки лифта раскрылись медленно и нешироко; казалось, что мы, наподобие улиток, покидаем раковину.

– На этом этаже лаборатория, – сказал Максим, – но вам, пожалуй, туда не надо. Подождите здесь. Сейчас попробую привести... специалиста. Платон Анатольевич зовут нашего профессора.

Паркет, диван, рядом кресло, лампа, розовые обои, стеклянный столик. Я приложил к стеклу ладонь и несколько секунд смотрел, как подтаивают линии моей жизни и моей судьбы.

Дверь открылась, словно её выдул резкий сквозняк. Профессор в белом халате стремительно вышел первым, Максиму пришлось поймать дверь, чтобы она не захлопнулась ему в лицо.

Профессор так резко сел в кресло, будто его толкнули в грудь.

Это был очень красивый, хотя и далеко не молодой мужчина с красивыми, зачёсанными назад волосами, с красивыми аристократическими скулами, красивым прямым носом. Я невольно подумал: какая, интересно, у него дочь, если она есть? Только взгляд у профессора был такой, словно его глаза болеют гриппом.

– Чем обязан, – спросил он без вопросительной интонации, глядя в зелёные складки шторы на окне.

– Я видел детей, – сказал я, помолчав секунду.

Специалист закрыл и спустя три секунды открыл глаза.

– Почему их держат здесь? – спросил я, подумав.

– Вы знаете, что в Древнем Китае некоторые императоры поручали пытки детям? – спросил профессор, быстро повернувшись ко мне; но, не увидев ничего любопытного, снова отвернулся. – Поручали детям, которые, как полагали, не ведают категорий добра и зла. Более того, в силу, так сказать, ангельской своей природы просто не понимают, что такое жестокость. Говорят, не было издевательств изощрённее, чем те, что совершали дети. Знаете об этом, нет?

– Не слышал.

– И не важно, что не слышали. Тут совсем другой случай... Знаете, что такое гомицидомания?

– Цц... Тоже нет.

– Психическое заболевание, характеризующееся навязчивым влечением к убийству и к насилию.

Я поднял понимающие глаза; враньё, конечно, никакие они не понимающие. Профессор тоже это знал и даже не обратил на мою мимику внимания.

– Гомицидомания, да... Они ею не больны, то есть совершенно. Ни одного признака...

Он посмотрел на меня, опять удивляясь, зачем он это рассказывает невесте кому, и, вроде как махнув рукой, но на самом деле не пошевелив и мизинцем, произнёс в никуда:

– Они совершенно здоровы.

Я ждал продолжения, но какое-то время продолжения не было.

– Вы знаете, что в нашей стране около двух миллионов подростков постоянно избиваются родителями? – спросил специалист. – И многие гибнут от рук своих отцов и матерей... тысячи. Более пятидесяти тысяч каждый год убегает из дома, спасаясь от семейного насилия. Свыше семи тысяч каждый год становятся жертвами сексуальных преступлений – знаете про это? А про то, что у нас только официально зарегистрировано более двух миллионов сирот, подавляющее большинство которых никто никогда не усыновит и не удочерит? Что-то слышали об этом?

Я кивнул с деревянным лицом. Подумал и ещё раз кивнул.

– Слышали. Но это опять же не имеет значения, – сказал специалист. – По крайней мере, определяющего... С детьми, которых вы видели, работали хорошие психологи. Неизвестно, где их родители, но... судя по некоторым реакциям, какие-то родственники у них были; кроме того, мальчики, скорей всего, никогда не подвергались насилию... и у девочки сохранена девственная плева...

Специалист повернулся ко мне с недовольным выражением красивого лица и спросил:

– О нейрогенетике вы знаете что-нибудь? Впрочем, не знаете наверняка. Я скажу вам проще: здесь одновременно работают химики, психологи и биологи, которые занимаются изучением поведения человека. Хотя бы ДНК знаете, что такое? Знаете?! И что?.. Ладно, молчите. Учёные уже пытались изучить и сравнить ДНК людей, которые, скажем просто, начисто лишены представлений о гуманности и морали... Результаты оставляют желать лучшего. Но есть, например, молекула окситоцина. Если у женщины нет окситоцина, она равнодушна к детям. Никто не понял почему, но это так... Вы видели одну из этих матерей, помните? Убийца своих детей. Говорят, что алкоголизм, безработица, социум... возможно. Но в её конкретном случае это ерунда. Просто у неё нет того, что есть у других женщин!

Он помолчал, не сводя глаз со шторы.

– А эти ребята равнодушны не к детям. Они равнодушны к человеку. И, кстати, почему-то не плачут... – Специалист повертел в руках невесть откуда взявшийся карандаш и быстро произнёс: – Равнодушны, по крайней мере, почти ко всем людям, кроме них и подобных им.

– В чём подобным? – столь же быстро спросил я.

– Это мы и пытаемся понять. Помните о маленьких китайских палачах? Тут другая история: дети, которых вы видели, не просто не имеют, но и со временем не приобретают представлений о зле и... ну, скажем, грехе... Вернее, убийство человека в их понимании никак не связано с этими представлениями. При случае они будут убивать без любопытства и без агрессии. Более того – сделают это как нечто естественное.

– И Радугев из таких? – скороговоркой спросил я.

– Нет. Радугев легко препарируется. С точки зрения... э-э... науки – ничего общего с ними.

– А другие?

Специалист брезгливо поморщился.

– Нет, нет, нет. Это человеческие уроды, ничего нового. Весь собранный здесь взрослый паноптикум – человеческие уроды. Они нам, скажем прямо, уже не нужны, эти недоумки... По крайней мере, я ими не занимаюсь совсем. Ничего общего, я сказал.

– Иной человеческий вид? Да? Эти дети – они другой природы? – вдруг произнёс я, пытаясь заглянуть в лицо специалисту.

Он вдруг посмотрел на меня удивлённо, а на Максима почти с раздражением.

– Кто же имеет... отношение к этим детям? – ещё раз спросил я, словно прослушав его ответ. – Подобные им взрослые... особи... есть?

– Мы никого не нашли пока. Либо эти недоростки появились совсем недавно и ещё не успели вырасти. Либо они, вырастая, изменяются... Либо они выросли в тех, кого мы ещё не знаем. К своему счастью...

– Они только в нашей стране встречались... такие подростки? Есть известия о том, что...

– Нет таких известий. Нет! Потом, работа только началась – эти подростки поступили к нам несколько дней назад. И вообще, я, по сути говоря, имею дело с жидкостями, а не... с людьми. Так что...

Специалист вновь с неудовольствием посмотрел на Максима – и совсем раздражённо, даже не пытаясь скрыть эмоции, на меня.

На прощанье махнул полый белого халата.

Я ещё раз, словно на память, приложил руку к столику.

...Дверь. Лифт. Бумага о неразглашении, которую мне молча подсунули, а я молча её подписал. Пропуск. Пространство...

Милаев вышел вслед за мной вроде бы покурить, но без сигареты.

Я остановился, не оборачиваясь к нему, принялся к раскалённому воздуху. Лето в этом году сбежало из ада. Пахло дымом, валокордином, жаровней, плотью.

– Слушайте, – окликнул меня Максим, – правду говорят, что вы одноклассник Велемира Шарова?

Мой главный тоже всё время об этом спрашивает.

Неправда.

* * *

“Когда всё это кончится?” – лениво спрашивал я себя, ковыряя ключом в замке своей квартиры.

Опять заперла дверь изнутри, ненавижу эту привычку. Приходишь в родной дом и стоишь, нажав звонок, минуту иногда. Минута, блядь, это очень много.

Дверь распахнули дети, сын и дочь.

Это они закрылись, зря я ругался. Чтобы достать до замка и закрыть дверь, они вдвоём подтаскивают стул к порогу. Чтобы открыть – опять подтаскивают.

Она ростом с цветочный горшок с лобастым цветком в нём.

Он с велосипедное колесо, только без обода и шины – весь на тонких золотых спицах: пальчики, плечики, ножки – всё струится и улыбается, как будто велосипед в солнечный день пролетел мимо.

Стоят с распахнутыми глазами.

– Ты что нам купи-ил? – ежевечерний допрос.

– Вот, жвачку.

– Какая это?

– Земляничная. Земляничные поляны.

Целые поляны земляники напихали себе в рот и стоят, не уходят – вдруг у меня ещё что есть в карманах. Жуют, как две мясорубки. Глаза от напряжения круглые и умные.

Снимаю ботинки, белые носки мои выглядят так, что ими пыль с книг вытирать можно.

– Мама дома? – спрашиваю тихо.

Отрицательно крутят головами, оба, одновременно, потом сын говорит:

– Нет, ушла.

Потом дочь говорит:

– Мама нет, ушла.

Каждый из них говорит так, как будто второго не существует. На любой вопрос – два ответа.

– А папа есть?

– Ты папа.

– Вот наш папа.

Тыкнули пальцами с двух сторон, в левое бедро и в правое.

С недавних пор жена не боится оставлять их одних, правда, ненадолго. Они смирные, спички не жгут, окна не открывают, ковыряются у себя в комнате. Строят домик.

Ещё мне кажется, что с недавних пор она их ненавидит – не постоянно, но припадками; может, поэтому и уходит, чтоб не видеть. Они машут в окно ей лапками, она отворачивается – и судорога на лице. Это я её довёл.

Вскрыл холодильник, пошуровал в холодке, нашёл сосиску и старый сыр, начал грызть его как яблоко, пока шёл к столу, потом вернулся за майонезом.

Дети проделали весь этот путь по большой кухне со мной: туда, обратно, туда. У холодильника дважды привставали на цыпочки, заглядывая.

– А есть что-нибудь вкусенькое? – он.

– Пап, дай чего-нибудь вкусенького! – она.

Из вкусенького варенье, они не хотят. Нет так нет.

Сосиску разогрел в микроволновке – она лопнула и начала там салютовать. Опять жена даст втык за то, что вся печка грязная внутри. Скажу, что не я.

(“Да, сосед”, – скажет она.)

Вытащил тарелку, сосиска дымилась, искорёженная.

– Ой, – сказал сын, глядя на сосиску.

– Вау, – протяжно сказала дочь.

Я внимательно посмотрел на дочку, она сыграла плечиком.

“Надо же, – подумал неопределённо, – девка уже...” Встали по обе стороны от меня.

Я подумал и ещё раз сходил к холодильнику за огурцом. Как вкусно: огурец, ошпаренная сосиска, сыр, вот хлеб ещё достанем.

– Я тоже хочу огурец, – сказала дочь.

– А я сосиску, – сказал сын.

– Вы ели? – спросил я, пережёвывая.

Они переглянулись: не помнят.

Опять встал, пошёл к холодильнику. Сколько раз я открою-закрою его за время обеда – двадцать два или меньше? Яйца сейчас в гоголь-моголь взобьются. Кстати, да, яйца.

– Яичницу будете? – спросил, не оборачиваясь.

Когда вернулся – они вдвоём, ёрзая, сидели на моём стуле и доедали мой прекрасный обед.

– Пап, ты меня любишь? – спросила дочка весело.

– Люблю, люблю.

Треснул яйцом о край сковороды.

Сын смолчал, увлечённый вылавливанием огрызка сосиски, упавшего в банку с майонезом.

Дочка доела огурец и решила продолжить разговор с той же интонацией, как будто не произносила эту фразу семь секунд назад.

– Пап, ты меня любишь?

Вместо “ш” она произносит “с” – “любис”.

– Нет, не люблю, – сам себе удивившись и не думая о смысле произносимого, вдруг ответил я, пошевеливая сковородой с яичницей.

– Как не любишь? – возмутилась дочь, глаза тут же наполнились слезами, и они потекли по, казалось, спокойному лицу – такая мука, что даже скорчить рожицу нет сил; хуже нет, когда дети так плачут.

– Господи, да люблю, конечно же, люблю, – перепугался я, едва не уронил сковороду и встал на колени рядом с дочкой.

– Так не бывает! – не прекращая плакать, очень высоким голосом сказала дочь. – Не бывает так: сначала любишь, потом не любишь!

(“Снацяла любис, потом не люби-ис!”)

В дверь позвонили. Я тоже заперся изнутри, из вредности.

Дети осыпались из-за стола. Толкаясь и голоса наперебой “мама, мама!”, кинулись к дверям.

Сейчас будут там сражаться за право придвинуть стул и провернуть замок.

– Ну, дети, я пошёл. Мама пришла, – сказал я сам себе, глядя в яичницу, с трудом сдерживаясь, чтоб с размаху не вклепить её в стену.

– Не бывает, говоришь? – спросил я отсутствующую дочку. – Бывает, – ответил сам себе и выключил огонь конфорки.

Спешно вбил ноги в ботинки, протиснулся мимо жены. Пока мы оба находились в прихожей, моргала лампочка, готовая потухнуть или, скорее, лопнуть.

Мы не поздоровались и не попрощались. Я закрыл за собой дверь.

Какой прекрасный подъезд, как хорошо тут, вот сейчас коснусь рукой стены здесь, и ещё спустя три ступеньки снова коснусь, и ещё при самом выходе потрогаю каменный холодок. А то на улице жаровня, и она сразу же опрокинется на меня, едва выйду.

Погуляю и приду, когда все заснут.

* * *

По улице только что проехала поливальная машина, асфальт был сырой и скользкий, как рыба, и пах так же.

Немного посмотрел сквозь ресницы на солнышко – ближе к вечеру это как лимонада попить, вчерашнего, выдохшегося, без пузырьков почти. Даже не лимонад, а ситро это должно называться – то, что я попил, глядя на солнышко.

Я часто хожу к площади трёх вокзалов – там у меня дело.

Неподалёку от метро привычно покачивалась толпа гастарбайтеров, лица как печёные яйца, руки грязные настолько, словно они спят, закапывая ладони в землю. Где ж они могут работать, такие неживые? Всё, что можно с ними сделать, – бросить в яму, даже не связывая. И они будут вяло подпрыгивать ногами, а кто-то без смысла взмахнёт рукой, пока на них лопатой, чёрными комками...

Как липко всё вокруг.

Дембель, весь в аксельбантах, как дурак. Стоит рядом с проституткой, она выше его на голову.

Проститутка – чёрная шевелюра, невидные глаза под очками, губы щедрые, как у старого клоуна, белое, как белая ткань, лицо. Отворачивается, будто от парня пахнет. Тем более что действительно пахнет. Он пьяный, расхристаный, пытается говорить ей на ухо, для чего привстаёт иногда на носки, тут же пошатывается и едва не валится, бестолково переступая ногами. Она двумя пальцами упирается ему в плечо, держа на отдалении. Дембель обещает ей бесплатное блаженство – деньги он прохерачил в привокзальной забегаловке. Четыре по сто, с одним бутербродом. Билеты домой уже куплены. Иди сдай билеты, тебе отсосут за это. Домой по шпалам дойдёшь.

Неподалёку стоят ещё три девицы, все некрасивые, на тонких ногах, с тонкими носами, в тонких пальцах тонкие сигареты.

Я обошёл вокруг них, они не обратили внимания.

А вот та, из-за которой я здесь.

В джинсах, почти не накрашенная, будто поболтать с подругами вышла, а не по делу.

Бёдра широкие, крепкие скулы, светлая крашеная чёлка, наглые глаза, смеётся. Майка выше пупка – заметны несколько растяжек на коже, рожалая.

Она похожа на мою жену.

Я бываю здесь почти каждый день.

Наверное, мне хочется её купить и потом, не знаю, пообщаться... объяснить что-то.

Она говорит с одной из тонколицых – обсуждают какую-то недавнюю историю.

– Я кричу Ахмету: ты сдурел? – белозубо хохочет скуластая. Тонколицая в ответ перемывает по лицу тонкие брови, иногда они становятся почти вертикальными и похожими на дождевых червей. Кажется, что брови тоже сейчас уползут, сначала одна, потом вторая.

– Ахмет мне кричит: да по херу, иди и обслуживай! – заливается скуластая, иногда сдувая чёлку с глаз.

Я подошёл совсем близко и, не сдержав любопытства, заглянул ей в лицо. Она вдруг перевела на меня прямой взгляд и спросила:

– Пойдём?

Мы обошли здание метро и направились в сторону привокзальных киосков. Вслед нам смотрели двое сутенёров, горцы, один молодой, худощавый, другой обрюзгший, лысый, под глаза выдают изношенные почки.

– Тебя как зовут? – спросила она.

Я помолчал, забыв разом все мужские имена.

– А тебя? – сказал наконец.

– Оксана.

Я кивнул тем движением, каким стряхивают пот со лба, когда заняты руки.

– Ты местный? – спросила она; интонация как у старшеклассницы, которая говорит с малолеткой.

– Местный, – ответил малолетка.

– Я тебя видела уже несколько раз, ты всё смотришь. Стесняешься, что ли? Или денег жалко?

Погоняв во рту слюну, я смолчал.

– У тебя обручальное кольцо на руке, – продолжила она спокойно. – Потом домой отправишься, к жене?

– Куда идём, Оксана? – перебил я её.

– Или в комнату отдыха на вокзале, или на квартиру, тут недалеко, – с готовностью откликнулась она. – Ты как?

– Пойдём на квартиру.

У ларьков она остановилась и сказала:

– Три тысячи это будет стоить. Можешь сразу деньги дать?

– На.

Я достал скомканную пачку из кармана, отсчитал три купюры.

– Дашь ещё тысячу на обезвреживающий крем?

– Нет, – пожатничал я.

– Ну, как хочешь.

Она нетерпеливо обернулась куда-то внутрь киоска, я посмотрел туда же. Виднелась уставшая продавщица и ряды со спиртным и сигаретами.

– Может, вина купим? – предложила она.

– Я не пью, пошли.

Оксана вдруг быстро вспорхнула в киоск, и тут же у двери, возбуждённо споря, встали двое немолодых горцев.

Я сделал шаг за девушкой, горцы в два толстых живота загородили путь.

– Ну-ка, кыш, – сказал я, слегка толкнув одного в плечо. Они продолжали увлечённо говорить. Я толкнул сильнее. Горец немного сдвинулся. Впрочем, это оказалось необязательным: киоск был со сквозным выходом. Сбежала моя скуластая.

Я вышел на улицу и засмеялся вслух: ну и глупец.

В Ленском вокзале есть дорогое и нелепое кафе, самое место для меня.

Двести граммов прозрачной, два тёмных пива, жюльен, отварные креветки, восемь штук, судя по цене, по пятьдесят рублей каждая.

– А ведь она вернётся сюда, – неожиданно сказал я вслух спустя час. Не пойдёт же она с тремя тысячами домой.

Рассчитался и вышел на улицу. Не очень отсвечивая, добрёл до угла Ленского, как раз чтобы видеть девичью стоянку. Ну, так и знал. Стоит себе, опять смеётся.

Почти бегом я вернулся на вокзал.

В полицейском участке на меня никто внимания не обращал. Вид у полиции был такой, что лучше их вообще не беспокоить.

Я тронул за рукав шедшего к дверям сержанта:

– Слушай, земляк. Меня проститутка нагрела на три штуки. Заберёшь у неё деньги – половину тебе отдам.

Он посмотрел на меня безо всякого чувства.

– Не, брат, – ответил, подумав секунду. – Их хачи кроют – с хачами тут никто не связывается вообще.

Я вздохнул, исполненный печали, но не уходил.

– Ладно, погоди, – ответил он. – Сейчас у помдежа спрошу.

Сержант надавил звонок; щёлкнув, открылась железная дверь дежурки.

Спустя минуту ко мне вышел неспешный прапорщик, пожёвывая что-то. Наглые и будто резиновые щёки чуть подрагивали – хотелось оттянуть на них кожу, посмотреть, что будет.

Вдруг, вздрогнув, я узнал в прапорщике своего сослуживца, с одного призыва, по фамилии Верисаев, кличка его была Исай, реже – Художник. Первый год службы только я один знал, что он рисует, и никому не говорил об этом.

Бойцом Верисаев был, скорей, прибитым, однажды с ним вообще случилась полная и печальная мерзота... В те дни, кстати, Верисаев сознался в своём умении пользоваться цветными карандашами и красками. С тех пор он, запертый в подвале, усердно рисовал альбомы дембелям. Потом он сам стал дедом и гноил молодых, как напрочь озверелый, большего скота я не видел.

Кажется, после армии мы не виделись... Я не помню.

– Что? – спросил Верисаев, не кивнув мне как знакомому и не представившись как положено. – Украли что-то?

Я ещё секунду смотрел в ему глаза, а он, с гадкой снисходительностью и не моргая, взгляд свой не отводил.

У него была седая прядь в волосах.

Отрицательно качнув головой, я развернулся к выходу. Запутался, само собою, в какую сторону открывается дверь, дёргал во все четыре стороны, пока мне в лоб её не открыли.

“Сказал ему сержант, что у меня случилось, или нет?” – некоторое время гадал я, а потом весело махнул рукой. Запасы бесстыдства в любом человеке огромны, сколько ни копай – до дна так и не доберёшься.

Сделав широкий круг, путаясь в гастарбайтерах, я обошёл метро и снова вырулил к Ярскому.

Там тоже свои полицаи обнаружили, целых трое.

Привокзальные стражи – особая порода, они всё время ходят с таким видом, с каким мы с пацанвой бродили по своей окраине, ища какую бы сделать пакость.

– Старшой, не поможешь? – спросил я прапора с огромным бугристым лбом и в двух словах поведал суть проблемы, пообещав поделиться.

“Зачем ему такой лоб, – подумал. – Что он им делает?”

– Ну, пойдём, – сказал не очень охотно и, уже обращаясь к двум своим напарникам, попросил: – Посматривайте там на обезьян, когда буду говорить.

Скуластая даже не заметила, как мы подошли, она снова стояла в окружении нескольких тонконогих и, почти не переставая, смеялась.

Старшой грубо выдернул её за руку и потащил, как ребёнка.

Она сразу и всерьёз напугалась – я по лицу увидел.

– Что случилось? – спросила, мелко переступая.

– Сейчас узнаешь что, в камере посидишь и вспомнишь, – ответил старшой.

Но прошли мы недолго, тут же подбежали с разных сторон, гортанные, черноволосые, один, тот, что постарше, лысый, схватил старшого за рукав.

– Что случилось, начальник? Что такое?

Старшой остановился, медленно, набычив бугристый лоб, повернул голову, глядя на волосатые пальцы, сжавшие его кисть, и негромко сказал:

– Быстро убрал руку, или я тебе отломлю её сейчас.

– Куда ты Оксану нашу ведёшь? – спросил лысый, убирая руку; напоследок даже слегка погладив китель.

– В камеру пойдёт Оксана.

– А что? зачем? где провинилась?

– На деньги нагрела парня.

– Какого парня?

– Вот этого.

Лысый перевёл на меня глаза. Я с трудом удержался от того, чтоб щёлкнуть каблуками.

– Ты нагрела этого парня? – с натуральным возмущением спросил лысый у скуластой, ткнув меня, не глядя, пальцем в грудь. Побольнее постарался, сука.

– Я его впервые вижу! – ответила скуластая.

– Она его впервые видит, – сказал лысый старшому, словно переводя с другого языка.

– Ну и хер с вами, – сказал старшой и резко дёрнул девку за собой – лоб его качнулся при этом, как рында.

Она оглянулась на сутенёров с натуральным ужасом – так дочь смотрела бы на родителей.

Лысый забежал вперёд и, выказывая всю серьёзность своих намерений, извлёк из кармана пачку денег.

– Эй-эй! Стой!.. Сколько надо этому вашему?

– Три штуки, – сказал старшой.

Лысый отсчитал шесть пятисоток и, подумав, передал деньги мне.

Старшой отпустил девушку. Никто никуда не уходил, все стояли и смотрели друг на друга.

– Ну? – сказал мне старшой.

Я передал ему полторы тысячи, которые он спокойно засунул в карман брюк, и патруль тут же пошёл себе.

Мы остались втроём с сутенёрами и Оксаной.

– Так ты работаешь или нет? – спросил я скуластую, задорно передёрнув плечами.

Она беспомощно огляделась, не зная ответа. Лысый еле заметно кивнул ей и тоже сразу ушёл; за ним потянулись остальные.

Улыбаясь, я разглядывал Оксану.

Как же всё-таки похожа. А если бы у нас были дети – они получились бы такие же, как мои?

Брезгливо скривившись, она, наконец, развернулась и пошла.

В заднем кармане её джинсов виднелся мобильный; естественно, я смотрел на её задние карманы.

Высокий дом, девять вроде бы этажей. Кодовый замок, цифры на котором она набрала дрожащими пальцами. Лифт вызывать не стала, почти бегом побежала по лестнице, но мне отчего-то казалось, что она больше не будет прятаться. Я ещё поднимался, когда удивлённо лязгнул замок и проскрипела распахнутая дверь.

Вывернув на лестничную площадку, увидел пустую прихожую – видимо, скуластая сразу уцокала куда-то внутрь, не снимая своих туфель.

Тихо вошёл следом, заглянул, не закрывая входную дверь, на кухню: стол, клеёнка, течёт кран, на холодильнике наклеены голые девки из вкладышей в жвачки; потом в единственную комнату: разложенный диван, передвижной столик с грязной пепельницей, выцветший паркет на полу, скуластая Оксанка курит у раскрытой форточки, босиком на паркете, туфли рядом

лежат на боку. На подоконнике какой-то ненужный подсвечник, без свечи. Балконная дверь закрыта.

Рассмотрев комнату, я вернулся к выходу, захлопнул дверь, закрыл замок, приметил шеколду – задвинул и её.

...и где тут наши крепкие скулы?..

– Какой ты урод, – сказала она, бычкуя сигарету о чёрный металл подсвечника.

– Ну, – согласился я.

Потом спросил:

– А эти твои... Ахмет там... Они как? Не уроды?

– Они такие, какие они есть. Лучше тебя и твоих полицаев.

– Ну и славно. Раздевайся тогда.

Не поворачиваясь ко мне, она с усилием стянула джинсы, бельё было красное, на слишком белом теле. Постояла, видимо раздумывая, снимать блузку или нет, не сняла. Решительно развернувшись, шагнула на диван, как будто на высокую ступень, потом сразу стала на четвереньки и проползла в самый угол. Уселась там, расставив чуть шире, чем нужно, согнутые в коленях ноги: смотри, урод.

– Будешь выкобениваться – въебу вот этим подсвечником, – неожиданно для себя, и себе не веря, сказал я.

Взял подсвечник и подошёл к дивану.

Она-то сразу поверила. Вытащила откуда-то из подлокотника презерватив, вскрыла, посмотрела на меня внимательно.

– Надеть? – спросила совсем по-доброму.

– Что делать будем? – поинтересовался, имея в виду нечто неясное мне самому.

Глядя в сторону, скуластая привычно произнесла:

– Стрип, орал, классика, массаж, лесбийские игры...

– Со мной, что ли, лесбийские игры?.. А золотой дождь отчего не назвала?

Она посмотрела на меня внимательно. Я так и держал, покачивая, подсвечник в руке, будто примериваясь ударить.

– Не надо, слушай, – попросила она.

Я вскинул брови.

– У меня сын есть, – добавила совсем жалостливо.

– Да что ты? Здесь? – я заглянул за диван.

– Нет, – искренне напугалась она, будто ребёнок действительно мог здесь оказаться. – Дома, в деревне, в Княжом...

Кто-то явственно толкнулся во входную дверь. Скуластая встрепенулась.

В курсе мы, кто пришёл, а то мы не догадались.

– Знаешь, – сказал я, – есть несколько американских фильмов, где богатый джентльмен влюбляется в проститутку и уводит её с собой.

– Знаю, – ответила она тихо, одним дыханием, продолжая вслушиваться.

– Ты никогда не задумывалась, почему во всех этих фильмах проститутка выходит на работу в первый раз? Почему бы ей не выйти в семьсот тридцать седьмой – и тут налететь на свою судьбу, на этого блондина с миллионом долларов?

Она молчала, уже открыто косясь в сторону входных дверей, хоть и не видных с дивана.

– Сын, говоришь, есть? – громко, уже дурачась, спросил я.

– Нет, – зло ответила скуластая, до розовых пятен раздражаясь, что никто никак не войдёт к нам.

– Тогда делай свой золотой дождь, царевна.

В дверной замок вполз ключ, медленно провернул железный язычок. Дверь толкнули, но была ещё щеколда, она не давала войти нашим гостям. Я подошёл к двери и закрыл замок снова, рука с другой стороны пыталась ключом сдержать провороты, но безуспешно.

– Эй, белый! – сказали мне негромко из-за двери. – Открывай, время вышло.

Неведомым образом я знал, что за дверью их несколько; кажется, четверо.

– Не-не, ребята, у нас тут ещё золотой дождь по плану. Пару минут подождите. Оксан, сколько у тебя обычно длится золотой дождь? – громко спросил я.

– Открывай, ты, долбоёб, – снова повторили негромко за дверью.

Я вернулся в комнату. Скуластая улыбалась, светло глядя пред собой и покусывая губы.

В дверь начали бурно стучать, долбить и колотить.

Подмигнув скуластой, я рванул на себя балконную дверь...

...и когда уже висел на руках, пытаясь примериться, куда бы прыгнуть повеселей, услышал, как девка закричала:

– Он с балкона! С балкона прыгнул! На улицу бегите!

Она рванулась за мной на балкон, но растерялась: то ли бить меня по рукам, чтоб я отцепился, то ли, наоборот, схватить за кисть и не отпускать.

Но я уже был на земле.

На улице меня встретил неожиданный, остроклювый дождик – и снова противно запахло рыбой. Как будто где-то неподалёку лежала скисшая и старая рыбацкая роба...

Пока я принохивался и думал, куда мне лучше бежать – налево или направо, меня крутануло и бросило на асфальт.

– Три штуки гони, ты! – сразу приступили к делу трое горбоносых. – Все деньги гони, блядь! Мы тебя уроем сейчас! Трахнем тебя сейчас!

Я вытащил из кармана деньги, смял и бросил в лужу рядом с собой.

– Ты, сука! – сказал кто-то из них, и я получил острым ботинком в ухо.

* * *

– Что у тебя с лицом? – Аля раскрыла свои тёмные, как сливовое варенье, глазищи.

– Наступили.

– Кто?

– Нацменьшинства.

Когда очнулся, проверил первым делом, на месте ли брюки, брючный ремень. Мало ли что у них на уме. Может, правду обещали.

Ремень на месте. Брюки на мне. Даже паспорт в заднем кармане остался.

Денег в луже не было.

Зачерпнул из лужицы, приложил к уху, в голове сразу же как будто море поднялось – вверх и разом, с грохотом, огромное – и упало на дно, где сидел я. Залило видимость на минуту.

Посидел, царапая асфальт левой рукой и подвывая. Тёмное сползло с одного глаза, со второго ещё нет. Я опять увидел лужу.

Бережно, двумя пальцами, ещё раз потрогал ухо: оно было как раскалённая спираль, в ушной раковине можно печь яйца. Шмыгнул носом и понял ко всему, что нос у меня огромный, не умеющий вдыхать, заполненный чёрной (откуда-то знал, что чёрной) субстанцией, но если я попытаюсь высморкаться, у меня разломится напополам ухо и выпадет в лужу тот глаз, что открывается.

Одной рукой я придерживал ухо, не прикасаясь к нему: сделав ладонь ковшиком, накрыл его, будто оно было большой мясной бабочкой или, например, лягушкой. Ухо моё ухо, о!

Другой рукой я медленно и почти с нежностью вытягивал из одной ноздри нечто длинное, витиеватое, действительно чёрное, очень тягучее и никак не кончающееся. В испуге я косил

единственным глазом на то, что извлекается из ноздри, и пугался увидеть второй глаз, который постепенно на этих странных нитях я неожиданно вытащу из черепа. Глаза всё не было, зато кроваво-слизистая косичка, наконец, кончилась, и теперь предстояло отлепить её от пальцев. Счистил об асфальт. “Это пожарить можно”, – подумал мечтательно.

Не раскрывая уха, встал на колено, упор, подъём, море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, спасла стена, так бы упал. Горячий затылок и в меру прохладный кирпич, как вам хорошо вместе.

Пошли, ты.

Пошли, разве я против.

И не надо на меня так смотреть, товарищ женщина.

Никому не надо.

Только одной даме я сейчас покажу, как я выгляжу, мы очень любим, когда женщины пугаются. Входим, волоча кишки за собой. Милый мой, что у тебя с кишками, отчего они так волочатся за тобой? Ерунда, не обращай внимания, со мной и не такое бывало.

Надеюсь, что очевидное различие формы моих ушей не станет препятствием для попадания в метро.

Мы познакомились с ней в метро. Она спускалась на эскалаторе, я поднимался и разглядывал девушек, которые делали вид, что меня не замечают.

Алька сама елозила своими весёлыми глазами по соседнему эскалатору, как будто там потерялся её добрый знакомый.

Мужик у неё тогда был, чего она искала в метро, непонятно.

Я вперился в неё и смотрел – чуть не сломал шею, оборачиваясь. Она всё это видела, и забавлялась этим, и в последнее мгновение оглянулась и показала язык.

Слизнула меня с эскалатора.

Я бросился вверх, бегом, бегом, бегом, извините, ещё раз извините, с каким бы, а, удовольствием я бы взял твою, тётка, огромную сумку, мешающую мне бежать, и киданул вниз, чтоб она загромычала туда, спотыкаясь на каждом фонаре... вот мы уже наверху, а там, чёрт, выход на улицу, махнул дверью, едва не зашиб идущего за мной, пробежал вдоль каменной стены, снова вход в метро, чёрт, нет жетона, влез без очереди, сдачу оставил железной тарелке, поскакал вниз, ничего не видя, когда глаза поднял – поперхнулся: стоит внизу, ждёт, машет ручкой, смеётся.

“Твою-то мать, может, она спутала меня с кем?” – подумал.

– Привет, мы что, знакомы? – спросил.

– Ещё нет. Алька, – сказала она.

Она была вся такая как слива, которую хотелось раздавить в руке и есть потом с руки все эти волокна, сырость, мякоть.

– Ну. А ты кто? – Загорелая, щёки у неё – как настоящие щёки, а не просто так, кожа, губы сливовые, язычок маленький и, кажется, твёрдый, как сливовая косточка. – А?

Кто я, блядь, такой.

* * *

С чего начать: глаза, уши, печень, сердце. У всего своя биография, свои воспоминания, своё будущее, до определённого момента разное.

С какого места приступим, у меня ещё много мест.

Мы, ребёнок я и моя семья, жили в двухэтажном доме старого фонда, на самой-самой окраине столицы; отсыревший, гнилой, тяжёлый, полный копошащейся живности, дом был похож на осенний гриб.

На чердаке нашего дома жили голуби, очень много. Ночью было слышно: гурр, гурр, гурр – прилаживаясь спать, они разговаривали друг с другом на каком-то своём иврите.

Когда я просыпался, уже никто не гуркал, голуби улетали поклевать, побродить в лужах, поковыряться в семечках; в доме было тихо и очень солнечно. Сначала солнечно через закрытые глаза, потом прямо в открытые – как из ведра.

То есть последними засыпали уши, глазам уже было всё равно; а просыпались первыми глаза, уши ещё ничего не сообщали, только хруст подушки, быть может.

Зверья в доме ещё не водилось, я шёл босиком к туалету, вот ещё один орган появился, доброе утро тебе.

Потом бегом в кровать – холодно, мурашки по детским лопаткам, большие, быстрые и рассыпчатые, как крупа.

По дороге несколько игрушек из деревянного ящика с собой в кровать – почему-то больше всего я любил белого пластмассового зайца с чёрными глазами, только его и помню до сих пор. Он был полый, в одном месте продырявленный, уши сросшиеся, стояли, будто султан на драгунском кивере, ещё усы такие – можно пальцем трогать, неровные, как старая болячка.

Заяц играл с другими игрушками – видимо, солдаты ещё были, большие, прямые, бестолковые. Почему-то мне было всё равно, что огромные зайцы воюют с солдатами, – никаких моих представлений о мире это не нарушало.

Наигравшись, вставал опять, включал телевизор, там было два канала, первый и второй.

Переключать программы надо было пассатижами, они лежали на столе возле.

Бывший переключатель тоже тут находился, расколотый на две части, отец никак не находил времени склеить, а может, и нельзя уже было склеить, но мать жалела выкидывать деталь.

В телевизоре показывали сельское хозяйство, краны, дирижёров, иногда врачей.

Сжимал пассатижи и щёлкал, пока не надоедало: дирижёр и трактор, скрипач и рождь, виолончель и комбайн...

После тракторов и скрипок хотелось есть.

На столе стояло молоко, в чёрной, прожжённой, как царь-пушка, сковороде лежали нежнейшие сырники – мама.

Стук в окно – знал, кто стучит, но всегда пугался в первые мгновения.

Стучал сосед, на год старше меня, звали Серый – а как его ещё могли звать? Также был Гарик, прибежал с другой улицы, весь в веснушках, на три года старше нас, лукавый, матершинник.

Гарик пел загадочно: “Чики-брики-таранте, чики-брики-таранте!”

Я тоже подхватил, привязчивая мелодия. Гарик сидел с веточкой в зубах.

– При взрослых не пой, – сказал тихо, когда вышла из подъезда соседка.

– А что означает “чики-брики-таранте”? – спросил я.

– Ебаться, – коротко ответил он.

Я ничего не понял. Посмотрел внимательно на соседку, примеривая к ней новое слово, и замолк.

Потом тихо глянул на глупое лицо Гарика и подумал, что он и сам не знает, о чём мне сказал.

Но это не Гарик стучал, он вообще ко мне никогда не заходил – он только к Серому, у родителей Серого был магнитофон, пацанва слушала по утрам всякие песни, когда Гарик прогуливал школу. Меня к магнитофону не подпускали: Серый страшно боялся его сломать.

Стучал, говорю, он.

– Пойдём голубей бить! – предложил Серый сразу. – Там уже Гарик сидит, на чердаке.

Спорить я тогда не умел, соглашался на любую замуту, брёл за старшими без всякой мысли в голове.

Пока я искал носки, но нашёл колготки, которые, пугаясь, что меня заметит Серый, скорей спрятал обратно в шкаф, дружок мой доел сырники и с чмоком вскрыл холодильник, так что внутри всё затряслось и задрожало, достал молоко. Выпил и молоко, потом я уже не видел, что происходило, а когда вернулся одетый, Серый снова жевал, сидя перед открытым холодильником на корточках.

Закрыли дверь в дом, ключ всегда лежал под половичком у входа – никого не боялись.

– Найди себе палку, – велел Серый, и я взял первую попавшуюся палку с земли. У Серого уже был запасён железный штырь.

Мы обошли дом – к ржавой лестнице, что вела на чердак второго этажа.

Дверь чердака неожиданно открылась, и оттуда вылез Гарик с голубем в руке; держа за ноги, он размахивал птицей, уже очумевшей настолько, что она еле шевелила крыльями.

Гарик, зацепившись одной рукой за лестницу, трижды, насколько мог сильно, ударил голубя об стену. Во все стороны, как из драной подушки, сыпанули перья. Голубь неожиданно ожил, стал бить крыльями, отчего перьев полетело ещё больше. Голова его дрожала и дёргалась, как поплавок. Голубь понял, что его голубиную жизнь нацепили на крючок – и сейчас извлекут наружу, как рыбу из воды.

Приблизив птицу к лицу, Гарик посмотрел на дело рук своих и с размаху подбросил голубя вверх – тот перекувыркнулся над нашими головами и с тупым звуком пал в траву. Попытался взлететь, трепыхнулся, шевельнул крылом, но ничего у него уже не получалось, он издыхал, раскрыв клюв, еле кивая головой.

– Давайте сюда, – позвал Гарик весело. – Их тут полно, нельзя выпускать.

Серый двинулся первым, я потащил себя следом, часто взглядывая на грязные подошвы дружка. Иногда с них сыпалось мне в глаза.

Гарик дождался нас. Запустив меня и Серого, воровато оглядел двор и соседние дома, затем прикрутил дверь верёвкой.

Чердак был пронизан белёсыми лучами из слуховых окон и просохшей насквозь в нескольких местах крыши. В лучах, от ужаса пугаясь взлететь, шевелились голуби. Некоторые были настолько пушистые и пышные, что напоминали ежей.

– Эх, бля-а-а! – заорал Гарик и, блея от радости – он так смеялся, – пустился чуть ли не в пляс по чердаку, разметая десятки ошарашенных птиц, ловя их за крылья, выворачивая им суставы и головы, топча и пиная.

Серый с серьёзным лицом работал прутом, и если попадал в летящую птицу – голубь замертво падал, неестественно вывернув крылья и топорща коготки.

Я изредка взмахивал руками, изображая, что занят тем же самым. Так, глупо трепыхаясь, я добрёл до другого края чердака, где присел возле одного затаившегося голубя. Он вжимал голову в туловище, казалось, ожидая удара и всё понимая.

Тут я вспомнил, что в руке у меня палка, несколько раз несильно тронул голубя палкой по спине. Он открыл и закрыл глаза, нахохлился, снова открыл и закрыл глаза, но не сдвинулся с места. Голубь готов был умереть сейчас же и тихо ждал этого.

С улицы закричали.

– Эх, бля-а-а, – повторил уже другим тоном Гарик. – Запасли. Серый, твоя мать орёт, овца глупая! Она ж на работе была.

Серый приник к двери, весь побелевший – даже в полутьме чердака было заметно.

Мать надрывалась внизу так, будто хотела докричаться до седьмого неба.

Серый не выдержал, судорожно размотал верёвку, толкнул дверь.

– Чего, мам? – спросил обиженно.

– Я тебе говорила на чердак не лазить, дрянь?

– Чего, мам? – повторил Серый безо всякого смысла.

– Ну-ка, слезай вниз! – кричала мать. – Ты один там?

– Скажи, что вдвоём были, – прошипел Гарик. – Вот с ним, – и толкнул меня к дверям.
– Вдвоём, – сказал Серый плаксиво.

– Слезайте! – велела мать и, увидев меня, добавила радостно: – И этому тихоне мать тоже всыплет!

Чумазые и в пуху, мы спустились вниз. Серого мамаша увела за ухо домой, на меня не посмотрела даже.

Я присел на скамеечку и долго смотрел на свои руки. Они дрожали. Мне хотелось их укусить.

* * *

В Альке хотелось остаться, она была мокрой – не от пота. Казалось, что всё её небольшое крепкое тело покрывается какой-то особой скользкой жидкостью, по ней скользили руки, и всё тело скользило по ней и соскальзывало в неё.

В момент, когда всё моё тело вытягивалось в последнем движении, она старалась смотреть мне прямо в глаза – взгляд был такой, будто она одновременно и боится за меня, и безумно рада за меня. Будто я бежал по навесному мосту над рекой и вот-вот должен был сорваться, но добежал, в последнем рывке достиг своего края – и теперь она держит меня за плечи, вживаясь в меня.

А о том, что у меня на другом берегу кто-то остался, она не спрашивает никогда, хотя знает, конечно.

– У тебя тут не болит? – полежав минуту на спине, спросила она и потрогала ссадину на моём лице.

– Нет.

– А тут? – пальчиком едва-едва задела ухо; оно взвыло.

– Н-н-нет.

Алька сморщилась, словно ей было больнее, чем мне.

– Нигде не болит, – повторил я голосом, противным мне самому, словно я чьи-то волосы пожевал.

Рывком встал с дивана, натянул свои набедренные тряпки и включил её белый, как аэроплан, ноут.

– Принеси мне какое-нибудь полотенчко, – попросила Алька, аккуратно поднимаясь и держа ладонь в паху.

Ничего не ответил, не шевельнулся, с нетерпением ждал, когда вспыхнет экран.

– Слышишь, ты? – весело прикрикнула она, извлекла из-под себя ладонь, посмотрела в неё, вытерла о щёку и опять запустила меж крепких ляжек.

– Так иди, – ответил я, быстро набрал латиницей поисковик и в пустой графе сделал запрос “дети-убийцы”.

Алька подошла сзади, так и придерживая себя ладонью, и другой рукой, мизинчиком, коснулась моей макушки, там, где было темечко, да заросло.

– Больно, Аль.

– А-а-а... А говоришь, ничего не болит... Какое ухо смешное. А вдруг оно у тебя таким и останется? Давай тебе другое растреплем, оттянем и сделаем похожим? Что ты там смотришь? Ужас какой, – и посеменила в ванную.

Включилась вода, заработала колонка.

По запросу нашлось тринадцать миллионов страниц. Нихерово. Есть шанс прекрасно провести время.

Страдая и морщась от брезгливости, некоторое время я мучил себя кровавыми мальчишками, потом веером снёс вниз все страницы, что наоткрывал, и остался один на один с пустым поисковиком.

Внизу мелким синим шрифтом была набрана новости, там я и вычитал о странном убийстве в городе Велемире. Неизвестные за ночь вырезали целый подъезд трёхэтажного дома. Единственный оставшийся в живых свидетель, выбираясь из комы на полусвет, заплетаясь, бредит по поводу нескольких недоростков, которым на вид не было и десяти лет.

Аля вышла из ванной через полчаса.

– Что делаешь?.. Господи, да зачем это тебе? Прекрати это читать, – попросила Аля, натирая голову так, что вот-вот должны были полететь искры.

– Хватит, да, не надо больше, – согласился я.

Крутанул на стуле и воззрился на Альку.

– Тебе никогда никого не хотелось убить? – спросил.

Она отложила наконец полотенце и чуть напуганно ответила:

– Нет.

После нашего с ней знакомства, как я догадываюсь, она набрала в поисковике моё имя, чтобы узнать, кто я, блядь, такой. Всё узнала, там даже фотографии детей есть, обоих.

Стоят, розовые как ангелы, посреди двора, у него кукла, у неё трактор, они всё время отнимают друг у друга игрушки.

В тот день я написал ей эсэмэску: ну, что, мол, ты приглашала в гости.

Она не отвечала минут семь.

“Раздумала?” – не унялся я.

“Господи, какой ты нетерпеливый, – написала она. – Приходи, я очень жду”.

Решилась.

Когда открыла дверь, лицо у неё было очень серьёзное, даже злое, но как будто вовнутрь злое, к себе. Я отдал ей цветок, она его безо всякой эмоции уронила куда-то в ботинки и, сжав пальцами мой затылок, сильно поцеловала в рот. Не просто поцеловала, говорю, а именно поцеловала в рот – именно так. И язык был твёрдый и упрямый.

Потом рывками содрала с себя джинсы, на ногах остались красные полосы – как будто упала об асфальт с велосипеда, – и, повернувшись спиной, опустилась на пол. Я погладил правую пятку правой рукой, а левую пятку левой. Между пятками расстояние было сантиметров сорок.

Как будто ей хотелось не просто это сделать, а как можно хуже, диче, чтоб потом обратно не возвращаться.

Вокруг стояли ботинки вроде как её недавно съехавших с квартиры родителей, потные отцовские тапки, пахло гуталином, висела ложка для обуви.

В зеркале справа отражался я, одна башка, профиль. Сначала на себя было отвратительно смотреть, а через несколько минут привык.

– ...А я всё время думаю, что убил кого-то, Аль. Вглядываюсь в людей. “Тебя убил, нет?” – думаю.

“Не тебя? Так кого же?” ...Ты точно никого не убивала?

– Нет, – твёрдо выдохнула она.

– Ну, нет так нет, Аль. И я нет. Все мы нет.

* * *

Пронёс мимо жены ощущение полного физического опустошения, заперся в своей комнате. Тут же зазвенел домашний телефон, пришлось вернуться.

Это главный, кому ж я ещё нужен.

– Ну что там? – спросил он, захохотав.

Захотелось потрясти трубкой, чтоб высыпать оттуда всё это разнообразное клокотание. Вместо этого я вкратце пересказал про седой чуб, живого Салавата и белый халат.

– Это твой родственник затеял там, – до слёз заливался главный.

Я поглядывал на себя в зеркало, иногда поднимая брови, иногда опуская. Ухо саднило, ссадина лоснилась, как намашенная. Надул щёки, выпятил губы, сдвинул вбок, насколько мог, челюсти. Скосился вниз, увидел, как мои двое стоят в неслышно раскрытых дверях, зачарованно вглядываясь в меня.

– Он мне никакой не родственник, – странным от искривления лицевых мышц голосом начал говорить я, но главный меня не слушал.

– Ладно, сохрани себе в памяти этот сюжетец, – засмеялся он. – Может, пригодится.

На самом деле Шаров жил когда-то на соседней с нами улице.

Дружки называли Шарова – Вэл, это я помню. В те времена, когда кликухи и погонялы были просты и незамысловаты, как лопухи, имя Вэл – звучало.

Рос он, между прочим, с мачехой. Родной отец его, из горцев, давно и безвозвратно исчез; много позже ходили слухи, что отец стал полевым командиром, проявлялся в первую ичхерийскую войну; но это всё враньем было – отец смирно себе жил в ряжской деревне с новой женой, разводил овец – вот, собственно, и всё, что в нём было горского.

Когда я пошёл в школу, Шаров уже оттуда выбыл, хотя я отчего-то помню, как на моей линейке первого сентября он вдруг объявился в толпе родителей, любовавшихся на своих деток, – подошёл, постоял, посмотрел на всех и пропал. Такое в жизни случается иногда – произойдёт вроде бы совершенно никчёмное и бессмысленное событие, автобус какой-нибудь самый заржавелый проедет или под ногами разбегутся голуби, и один взлетит, – короче, полная чепуха, но отчего-то западёт в память и лежит там, ненужная.

Шарова я тоже так запомнил: вот он зашёл в толпу и вот он ушёл. И больше не вернулся на соседнюю улицу. А чего, там мачеха, зачем ему. Она, по-моему, ещё раз замуж вышла, хотя не уверен.

Потом я увидел его в новостном выпуске, он располагался за самым длинным государственным столом, и почти во главе его.

Можно вложить смысл в нашу встречу на линейке – но его там нет.

Неудачно покосив от армии в психушке, а после ещё и отслужив, я вернулся домой.

Немного поучился в разных местах, влюбился, женился, родил двоих детей, однажды ночью сел за стол и аккуратными буквами набрал страницу текста.

Утром перечитал и не огорчился.

За три года я написал три политических романа: “Листопад”, “Спад”, “Сад”, – ожидался четвёртый, и я спускался в него, как в скважину. Первые три Шарову понравились, мне передавали, даже Слатитцев как-то об этом обмолвился, пытаюсь нарисовать хотя бы одной стороной лица улыбку, но получилась почти уже судорога.

У Шарова-политика была одна странность, на которую мало кто обращал внимание: он не только не имел друзей, но никогда не пытался создать свою, как это называют, команду. В какие высокие коридоры он ни попадал бы, за ним не тянулись знакомые со времён обучения и службы.

Кажется, ему нравилась эта его самодостаточность, эта, в некотором смысле, о да, завершенность.

Шаров был уверен: достаточно и того, что его собственными поступками движет близкая к идеальной целесообразность.

Целесообразность заключалась в том, что он стремился добиться наилучшего результата с имеющимися средствами и с наличным человеческим материалом. То, что это был далеко не

самый лучший, а, напротив, просто чудовищный человеческий материал – и власть составляли люди пошлые и неумные, – ничего не меняло.

Шаров относился к себе с уважением, это было заметно; а если нет и не может быть людей, достойных уважения в той же степени, какая, в конце концов, разница, с кем работать?

В верхах давно уже никого и ничего не могло удивить. Шаров мог знать о том, что министр образования нездоров психически, министр внутренних дел причастен к торговле человеческими органами, а министр финансов на личном автотранспорте задавил насмерть женщину, – и не сделать ни малейшего движения во имя наказания этих людей.

Это было нецелесообразным и, более того, не имело хоть сколько-нибудь серьёзного значения.

...Обо всём этом я привычно и без малейшего раздражения подумал, сдувая щёку, прибирая язык и возвращая глаза на место. Едва лицо стало нормальным, думать о Шарове сразу расхотелось.

Объяснение собственно природой человека любых, в том числе несколько выдающихся за пределы допустимого, поступков нашей неплеменной аристократии давно так или иначе устраивало всех – или почти всех.

* * *

Я, наконец, снял свои оранжевые носки.

Алька всё время смеялась над цветом моих носков.

Ничего смешного.

Запинал их поглубже под стол. Если не запинать – завтра будут висеть сырые на батарее. Все мои радужные носки постоянно висят сырые на батарее. Носить их некогда, они постоянно сохнут.

Включил комп, снова залез в ссылки по велемиурской истории. Ищут пожарные, ищет милиция... Всё то же самое, ничего нового. А, нет. Недоростки, оказывается, успели ещё на выходе из подъезда порешить двух милиционеров.

“...старшина Филипченко и стажёр... были обнаружены на ступенях...”

“...Филипченко... Филипченко...” – пошвырялся я в своей памяти, как в мусорном баке.

“...более тридцати ранений и семь переломов у старшины... стажёр... перелом основания черепа... перерезано горло...”

Неожиданно услышал дыхание за спиной.

– Ты где была? – я встал, заслонив спиной экран.

– Спала, – ответила жена.

Я философски цыкнул зубом.

В комнате было темно, она не видела моей изуродованной морды.

– Чего ты там смотришь?

– Работаю.

“Если она попытается заглянуть мне за плечо – оттолкну её”, – подумал я, покусывая губы и елозя глазами туда-сюда.

– Я тебе мешаю? – спросила она тихо.

О, этот умирающий голос. Дайте мне какой-нибудь предмет, я разьебашу всю эту квартиру в щепки.

Не глядя, нащарил рукой кнопку и выключил компьютер.

Страшно болела голова.

Как всё-таки мало места в квартире, сейчас бы свернуть в проулок, миновать тупичок, выйти через чёрный ход к дивану в другой комнате, подбежать на цыпочках к дверям, быстро

запереться изнутри на засов, подложить под щель в двери половичок, чтоб не было видно, что включён свет и я читаю, а не удавился, например, в темноте.

Но жена прошла как раз в ту комнату, где я хотел спрятаться. Тогда я пойду в другую, там как раз дети, я их так люблю. Здравствуйте, дети. Что вы строите? Домик? Где живут мама и папа? Давайте я вам помогу. У меня как раз есть некоторые соображения по этому поводу. Вот так вот. И вот так вот! И вот ещё так!

– Ну, заче-е-ем? – протянула дочь.

– Зачем, пап? – спросил сын сурово, но предслёзно.

А вот так вот, ни за чем.

* * *

Старшина Филипченко ходил очень быстро.

Его новый стажёр не поспевал за ним.

Стажёр работал вторую неделю и честно думал, что они, пэпсы, сотрудники патрульно-постовой службы, будут ловить преступников, и он, салага, тоже. Но пока они собирали по детским площадкам нетрезвых работяг и безработных и составляли на них протоколы. Работяги через одного были похожи на отца стажёра. Безработные – на того же отца, каким он должен был стать через год-другой-третий.

Нетрезвых мужиков загоняли в железную будку – пикет. В пикете всегда пахло перегаром и сигаретным дымом. Пэпсы там курили, но если начинали за компанию курить задержанные – на них орали матом и били по рукам. Сигарета выпадала, на неё наступали ботинком. Потом сгоняли длинные, раздавленные бычки ближе к выходу. Пол всегда был истоптанным, грязным и в слипшемся табаке.

После этого задержанному цепляли наручники и затягивали железные кольца потуже.

Втайне стажёру всё это почему-то нравилось. Иногда он терялся, когда хмурый и насмешливый работяга вдруг, взглядевшись в стажёра, спрашивал:

– Только из армии пришёл, сынок? Папку своего тоже в участок потащишь? Браслеты на него наденешь? Сопля ты зелёная.

Филипченко при этом нисколько не тушевался. Спокойно клал авторучку – обычно он сам заполнял протокол, – брал со стола дубинку и бил ею задержанного, чаще всего по ногам.

– Как разговариваем с дядей полицейским? – спрашивал он спокойно и незлобно, хотя бил больно и оставить следы побоев совсем не боялся.

Филипченко почти всегда слушались и боялись, а стажёра не очень.

Однажды стажёр понял, что Филипченко бояться и слушаются не потому, что он такой страшный, а потому, что он именно такой, от кого привычно принять унижение.

Стажёру он напоминал того деда на срочке, который издевался над молодыми особенно жестоко, неся при этом на лице выражение равнодушия и усталости. Стажёр часто представлял, как изуродует его, когда встретит на гражданке, а потом, спустя год, неожиданно столкнулся с ним на Ярославском вокзале в столице, где был проездом. Они обнялись и пошли пить пиво, очень довольные встречей.

Такой может уgomонить пьяного отца ударом в грудь – и отец простит ему, протрезвев. Может годами терзать младшего брата – и тот тоже простит, когда подрастёт.

Потому что человеческое отношение, когда его выказывает... ну, тот же Филипченко, оно как-то выше ценится, чем если бы его выказывал любой другой, скажем стажёр.

Приложившись несколько раз дубинкой к задержанному и честно забыв об этом, спустя полчаса Филипченко с некоторой даже заботливостью снимал наручники с него и просил негромко, пододвигая протокол:

– Вот тут черкни, отец... Ага. Ну, будь здоров, больше не попадайся.

И Филипченко отвечали:

– Спасибо!

И уходили довольные, со стажёром не прощаясь.

Филипченко выкуривал сигарету, вглядываясь в стекло и думая о своём. Если в этот момент стажёр его спрашивал о чём-то, он никогда не отвечал: вроде как не мог выйти из задумчивости.

Спустя минуту переспрашивал:

– Чего говоришь?

Как раз ровно столько выдерживал, чтоб стажёр почувствовал себя в достаточной степени опущенным этим молчанием.

Пока стажёр хрипло пытался повторить свой никчёмный вопрос, Филипченко резко вставал, поправлял одежду – выглядел он всегда отлично, и даже обувь умудрялся не забрызгать, не заляпать, – и, кивнув стажёру – за мной, салага! – выходил на улицу, сразу глубоко забирая в тёмные дворы.

Он шёл быстро, стажёр постоянно то набегал на лужу, то поскользнулся на грязи, то почти влетал в столб, а Филипченко двигался не чертыхаясь и не суетясь, останавливался только если где-то раздавался пьяный говорок или юношеский гам.

Постояв несколько секунд и утвердившись в своих предчувствиях, он срывался с места, но не бегом, а шагом, шагом, лишь спина качалась перед запыхавшимся стажёром, – и вот уже, никем не замеченные, двое полицейских появлялись в месте распития спиртных напитков. И пока стажёр порхал глазами с одного на третьего мужика, Филипченко уже определял самого главного, приказывал подняться, собрать бутылки и – ать-два за нами, верней, впереди нас.

– Протокольчик составим для профилактики и отпустим, – примирительно говорил Филипченко, но, если кто-то чего-то не понимал, разом повышал голос, тянул медлящих за шиворот, мог надеть браслеты, но этим не злоупотреблял: задерживали порой человек по шесть, всех не окольцуешь.

Филипченко разом и командовал, и просил, и давил, и мимоходом лукаво льстил, не теряя своего полицейского достоинства и меняя интонации ежесекундно. И пока стажёр сжимал и разжимал рукоять резиновой дубинки, в треморном предчувствии драки, все уже вставали, собирали водку в пакеты и послушно брели за Филипченко, верней, ну да, впереди него.

В пикете начиналось обычное представление – собственно, никакого другого весомого смысла непрерывные круглосуточные задержания нетрезвого элемента и не имели. Для отчётности хватило б и по паре хануриков на постового. Но при чём тут отчётность?

Работяги, понукаемые то грубым, то ласковым Филипченко, извлекали всё из карманов, выкладывали на стол: сигареты, носовые платки, которыми можно было только протирать ботинки, зажигалки, иногда перочинный нож, иногда отвертку, ну и мелочь, мятую, сырую, пахнущую мужиком, его ладонями, потом, рваной подкладкой.

– Сколько денег при себе имели? – спрашивал Филипченко.

– Ну, сосчитай сам, старшина, – отвечал ему усаженный в угол на лавку работяга. – Я ж не помню.

Наученный стажёр вставал, будто бы с необходимостью разглядеть, скажем, перочинный нож, рядом с Филипченко, прикрывая его от задержанных.

Филипченко быстро пересчитывал деньги, успевая спрятать в журнал записи задержанных несколько купюр. Особо не жадовали. Почти всё вычищали только у борзых и очень пьяных – объясняли это просто: не наглед бы – оставили б минимум половину. А так – вот тебе на трамвай, бродяга, и проваливай, не было у тебя никаких денег, пёс пропойный.

Они выпроводили очередных кормильцев своих из пикета, Филипченко посчитал деньги и не глядя передал стажёру.

Их вызвали по рации.

– Внимательно, – сказал Филипченко, хотя положено было говорить “На приём!” или “Пятнадцатый слушает!”.

Девушка с приятным голосом назвала адрес и пояснила:

– Женщина из соседнего подъезда позвонила, говорят, что там вроде бы драка сразу в нескольких квартирах. Сходи посмотри. Участковый подойдет, если будет нужен. Звонившая была пьяна.

Поспешая, стажёр, конечно, отметил про себя, что дежурная обращается к Филипченко в единственном числе, словно никакого стажёра с ним рядом и не было в природе.

Дом выполз к ним серым боком. Филипченко резко встал, стажёр ткнулся ему в плечо, потом шагнул вбок и стал пристально глядеть на окна. Одно из них погасло.

Филипченко даже, кажется, принюхивался.

– Пойдём? – стажёр как будто хотел сказать: а чего ждать-то, дом как дом.

Филипченко не ответил, ещё раз шумно, как конь, втянул в себя воздух и нехотя пошёл. Пихнул входную дверь, она издала пронзительный скрип.

– Заорал кто-то, – Филипченко попридержал дверь; стажёр опять ткнулся ему в спину, съездив носком по пятке старшинского ботинка.

– Что ты всё время висишь на мне, – Филипченко резко, неразмашисто, но больно ударил стажёра локтем в дыхалку.

Стажёр обиженно шагнул назад, и Филипченко вдруг упал ему на грудь, на руки, удивительно тяжёлый и пахнувший потным затылком и чем-то смешно хлюпнувший, а потом засипевший с присвистом.

Стажёр пытался было Филипченко удержать, но соскользнул со ступеньки и упал на спину, ударившись затылком, – и ещё в падении он видел, что в горло, под челюсть, Филипченко воткнут какой-то предмет вроде копыя... откуда тут копыё?... кочерга, что ли, какая-то.

Из подъезда выскочило несколько недоростков с какими-то вещами в руках... игрушки, что ли?

“...куда ж они играть вечером?... – спешно подумал стажёр. – Вот босота... Спать пора...”

У одного был молоточек, почти как настоящий. У другого... топорик, что ли... мать стажёра обухом такого, тоже казавшегося игрушечным, отбивала мясо.

Если попадалась кость, раздавался твёрдый, со взвизгом звук.

* * *

После того как ударился головой, я могу себе нафантазировать всё что угодно.

Потом живу и думаю: это было или это я придумал?

Таких событий всё больше, они уже не вмещаются в одну жизнь, жизнь набухает, рвёт швы, отовсюду лезет её вновь выросшее мясо.

Этим летом, когда на жаре я чувствую себя как в колючем шерстяном носке, даже в двух носках, меня клинит особенно сильно.

– Аля, – сказал в телефон, выйдя во двор, – поехали в город Велемир?

– Ой, я там не была, – сказала Аля, и было не ясно: это отличная причина, чтоб поехать, или не менее убедительный повод избежать поездки?

Я помолчал.

– А зачем? – спросила она.

– Расскажу тебе по дороге какую-нибудь историю, – предложил я. – У меня с дорогой на Велемир связана одна чудесная история.

Всего за несколько лет живых душ в доме, где обитал маленький я, стало в разы больше.

Первым появился щенок Шершень.

Следом пришли особые чёрные тараканы, пожиравшие обычных рыжих, четырёхцветная кошка Муха, еженедельно обновляемые рыбки, лягушки в соседнем аквариуме, белый домашний голубь редчайшей, судя по всему, породы – он был немой.

Ещё залетали длинноногие, никогда не кусавшиеся, будто под тяжёлым кумаром находившиеся комары и громкие, как чёрные вертолёты, в хлам обдолбанные мухи с помойки.

Летом обнаруживались медленные, кажется собачьи, блохи, привыкшие к шерсти и не знающие, что им делать на голых человеческих коленях, но их вообще не замечали: они сами вяло спрыгивали на пол к чёрным тараканам и весёлой Мухе.

Шершень был дворнягой, умел улыбаться и произносить слово “мама”. Зимой, если его обнять, он пах сердцевинкой ромашки, а летом – подтаявшим пломбиром.

Щенком Шершень был найден возле мусорного контейнера и перенесён в дом; безропотная мать отмыла попискивающее существо, уместившееся в калоше. Год спустя калоши впору было надевать на лапы плечистому разгильдяю. “Мама” он произносил, когда зевал, – как-то по-особенному раскрывалась тогда его огромная чёрная пасть, и издаваемый звук неумышленно и пугающе был схож с человеческим словом.

Муха обнаружилась на середине скоростной трассы, куда я, увидев остирок шерсти вдоль ничтожного позвонка, добежал на трепетных ногах, передвигаясь посередь тормозного визга и человеческого мата. У неё были повреждены три лапы, она двигалась так, будто всё время пыталась взлететь, подпрыгивая как-то вкривь и вверх. Я поймал её на очередном прыжке и прижал к груди.

Шершень принял Муху равнодушно, он вообще ленился бегать за кошками. Зато он очень любил лягушачье пение. Лягушки поначалу жили у дочери нашей соседки, но соседка была алкоголичкой и средств на прокорм животных чаще всего не имела. Сначала мы слушали лягушек за стеной, потом террариум был перенесён к нам на кухню. Говорят, что лягушки орут, когда готовятся к брачным играм, но эти голосили куда чаще. Возможно, пока они обитали в семье алкоголиков, они кричали от голода. Затем просто по привычке или от страха, что их вновь не накормят. Из всей нашей семьи лягушачьи концерты любил только Шершень. Он приходил на кухню и подолгу смотрел в террариум, иногда даже вставая передними лапами на подоконник.

Обитатели террариума умели издавать звуки на удивление разнообразные: они квохтали, курлыкали, кряхтели, тикали, как часы, стучали, как швейная машинка, в голос зевали, немного каркали и даже тихонько подвывали. Казалось, что Шершень разбирает их речь и разделяет лягушачью печаль. Иногда, слушая лягушек, Шершень тихо улыбался. Улыбаться он тоже умел.

Муха в это время ловила и поедала чёрных тараканов, а также рыжих, ещё не убитых чёрными.

Ещё она с удивительной грацией сшибала на лету огромных мух, обрывая их зуд на самой противной ноте. Но этим зрелищем она удостаивала членов семьи крайне редко – охотиться на воздухоплавающих Муха любила в одиночестве. Мне несколько раз удавалось подглядеть, как, затаившись на спинке дивана, Муха неожиданно делала пронзительный прыжок и убивала влёт чёрный помойный бомбардировщик.

Однажды мы уехали за город, Муху, не вовремя отправившуюся на прогулку, найти не смогли, оставили открытой форточку и насыпали ей разнообразной еды в большую кошачью тарелку. Когда вернулись через неделю, пол был усеян мухами, их было больше сотни.

Представляю, что там творилось всё это время, какое побоище...

Рыбки Шершня не волновали, зато Муха периодически нарезала круги близ аквариума.

Добраться до чешуйчатых она так и не смогла; рыб мы сами загубили. Купили на рынке какого-то мелкого блестящего пузана, с ноготь ростом, ну, чуть больше. За ночь эта пакость

сожрала, кого успела сожрать, остальных изуродовала, самая большая особь по прозвищу Мексиканец пыталась избежать общей участи, волоча за собой нежные кишки.

Я снял крышку с аквариума и запустил на кухню Муху. Через пару часов аквариум был пуст.

Белый голубь в это время сидел на шкафу и молча смотрел в сторону. После случая с рыбками он покинул наш дом.

В тринадцать лет мне страшно захотелось собаку, как в кино про Электроника, “а, мам?”.

Мама вроде и не против была, но по-доброму сказала, что две собаки – это много, у Шершня был аппетит как у душары, а выглядел он как хороший дембель.

Я затаился. В ту минуту во мне поселился взрослый человек, тать, подлец и врун.

В страсти по новому псу Шершня я разлюбил. От его “мама” меня всего кривило.

Однажды собрался и, весь покрытый липким ледяным потом, отправился с ним на вокзал, купил билет до какой-то, напрочь забыл какой, станции Велемирского направления.

Уселись на жёлтую лавку. Шершень спокойно смотрел перед собой, расположившись у меня в ногах.

Вышли, я дождался обратной электрички и шагнул в неё за секунду до того, как закрылись двери.

Шершень даже не смотрел на меня, как будто ему было стыдно. Он так и остался сидеть на асфальте, не пошевелившись.

– Я думаю, он мог бы вернуться, нашёл бы дорогу... Просто не захотел.

Алька посмотрела на меня, потом мимо меня, потом снова на меня. Ничего не ответила.

Вскоре после того, как Шершень исчез из нашего дома, ушла и Муха, неведомо куда. И с лягушками какая-то напасть стряслась. Наверное, им некому стало петь.

Они умерли, и остались одни тараканы.

* * *

– А щенок куда делся? – спросила Алька.

Поленившись спросить “какой щенок?”, я молча смотрел в окно электрички, немедленно соскальзывая глазами с любого предмета – ни на чём не желали задержаться. Скучные лавки вагона, серые столбы перрона.

Не... бо...

И жа... ра...

Электричка шла сквозь пекло, не остывая ни на градус.

Я долго тёр потные виски горячими кулаками.

– Почему ты носки всё время носишь какие-то странные? То оранжевые, то в белых полосках? – спросила Аля.

Я осторожно открыл глаза. Она смотрела мне на ноги.

Плохой вопрос, не хочу отвечать.

Она о чём-то другом меня только что спрашивала... Про щенка.

– Сдох от чумки, двухмесячный, – ответил я, когда Алька уже отвернулась.

– Говорят, Велемир красивый город, – немедленно простила Алька моё молчание; ей хотелось разговора.

Напротив, через одну лавку, сидели мужик и баба. Мужик копошил рукой у бабы в цветастой юбке, как будто потерял у неё в паху что-то вроде часов. Баба словно думала о своём – потерял и потерял. Хорошо поищет – найдёт.

С ними был ребёнок. Повернувшись спиной к родителям, встав коленками на лавку, он лизал железный поручень, и делал это довольно долго. Всю мерзость, которую перенесли на своих потных руках прошедшие сквозь наш вагон, мальчик уже пожрал.

– Он у вас поручень лижет, – сказал я наконец.

Удивительно, что Алька вовсе не замечала ребёнка. Она их и на улице не видела никогда.

Баба, не обращая внимания на копошащуюся в её тряпках руку, встала, взяла ребёнка за шиворот, потрясла и сказала громко:

– Не лижи лавку! Грязная!

Ребёнок убрал язык. Алька секунду посмотрела на грязную детскую мордочку и снова перевела взгляд на меня.

– Красивый? – повторила.

– Мм?

– Велемир?

– Красивый Велемир, – повторил я без смысла, подумав о Шарове.

Мужик всё никак не извлекал руку, а мне хотелось, чтоб он что-нибудь достал наконец: серебряную ложку, огрызок яблока, очки без стекол, золотое колечко...

Спустя три часа мы миновали белобокие храмы, затерявшиеся в зарослях неведомого кустарника, пожухшей крапивы, посеревшей полыни, и вскоре вышли из электрички.

Алькины каблуки с перепадами цокали где-то за спиной, она тихо ругалась матом: покрытие перрона было так себе.

В здании вокзала я купил себе бутылку тёмного пива; Альке ничего не предложил, но она на это не обижалась. Если хотела – спрашивала сама.

– Я тоже буду пиво, – сказала.

– У меня отопьёшь, – предложил я.

На это она тоже не обиделась. Может быть, жениться на ней?

Аля посмотрела на меня с нежностью и согласилась:

– Отопью у тебя.

Велемир был почти лишён кислорода, словно его накрыли подушкой с целью, например, задушить.

Август, август, откуда ж ты такой пропечённый и тяжкий выпал, из какой преисподней.

Хоть бы мокрый сентябрь заполз скорей за шиворот, приложил холодное ухо к тёплому животу.

Не будет нам сентября никогда.

Я оставил Альке на самом доньшке, уже выдохшееся, стремительно потеплевшее, на вкус хуже вчерашнего чая, недопитого чужим стариком. Она спокойно допила и отнесла пивную бутылку в урну.

– Я поселю тебя в гостиницу и съезжу по своим делам, хорошо?

Ещё бы не хорошо.

В номере Алька сразу забралась в ванную и пустила воду, судя по шуму, сразу из всех кранов – громыhalo о раковину, яростно шелестело о стены душевой, одновременно набиралась ванна, клокотал унитаз и отдельно, непонятно откуда, плескало об пол.

– Мокрица, – сказал я вслух, стоя возле двери ванной.

Поднял с пола её туфлю, понюхал. Пахло пяткой.

Взял на ресепшене карту города, развернул Велемир, полюбовался, свернул обратно.

Поймал такси, назвал адрес; таксист был небритый, чужих кровей, молчаливый. Музыка в салоне не играла. В половичках на полу авто плескалась грязная вода: мыл недавно своё железо. В воде виднелись монеты: белая и жёлтая мелочь, кто-то успел уронить. Несколько минут я боролся с желанием поковыряться в грязной жидкости, извлечь рубли.

– Вот ваш дом, – сказал таксист, глядя перед собой.

– Сколько?.. Держите... А вы знаете, что это за дом?

– Здесь все знают.

– Что знают?

– Что это за дом.
– И что говорят?
– Что какие-то недоростки вырезали здесь один подъезд. Только никто их не видел никогда.

– Тут живёт кто-нибудь? В тех самых квартирах?
– Конечно, живут. Я б сам тут жил, вместо того чтоб всемером в одной комнате с тёщей, блядь.

Неместные так хорошо матерятся, такими родными сразу становятся, словно твою старую рубаху с благодарностью донашивают.

– А зачем вырезали, говорят?

– Никто не знает. Я бы остальных дорезал тут, кто остался... Слушай, друг, у меня заказ. Выходи, ну.

Я вышел из машины в грязь непонятного происхождения: сильных дождей не было давным-давно. Поднял ногу, раздумывая, куда бы ступить ещё, но не нашёл сухого места и пошёл по грязи дальше – она закончилась у самого подъезда.

“Ну и где у нас... всё происходило?..”

Деревянные, крашенные в неопределяемый цвет двери. Под окнами вроде как место для палисадника, но несколько сотен размякших сигаретных бычков среди подавленной травки не дают всходов.

Занавесок на окнах почти нет. Из нескольких форточек свисают штаны и прочие половые тряпки.

Открылась одна из парадных дверей, вышел пацан лет восемнадцати, прыщ на подбородке, наколка на руке.

Я не успел познакомиться с ним прежде, чем он стрельнул закурить.

– Здесь живёшь? – спросил я, протянув ему сигарету: нарочно для этого случая приобрёл пачку подешевле.

– Здесь живёшь, – ответил он хрипло и неуважительно, шамкая слюнявыми губами фильтр.

– Давно?

– Про жмуриков интересуешься? – понял он меня сразу. – Тут все про это спрашивают... и все рассказывают, хотя никто не знает. Потому что те, кто знают, – на кладбище, а все остальные – спали. Начали с того подъезда, – он мотнул сальной челкой на соседнюю дверь. – А начали бы с нашего, то ты говорил бы с Жориком из двенадцатой квартиры, и он бы тебе рассказывал про меня. Я там одну девку драл, – начал пацан, не остановившись на Жорике, неустанно затягиваясь сигаретой.

– Там не было девок, – усомнился я, читавший новости.

– Ну как девку – бабу, ей за сорок было. Пятьдесят два, что ли. Только я от неё ушёл часов в восемь, и то потому, что бухнуть было нечего – всё выпила и спала, бля, как лошадь. Ушёл, ещё с мамкой полаялся – она тоже всё выпила... и лежал потом телик смотрел, в смысле слушал: он не показывает. И ни хера не услышал, чё творилось, пока полицаи не начали в дверь долбить. Полицаев наехало – вся местная псарня собралась к утру. И начальник псарни, полкан, пьяный в сопли. И местная скорая вся собралась. И главврач, с бодунищи... Всё в кровище было, как на бойне... Трупы таскают, оцепление сразу не выставили, мы с дядей Сашей в подъезд зашли, в одной хате нашли бухло недопитое, разлили, вдарили, чё-то закурить тоже нашли, я вышел пописать, возвращаюсь – дядю Сашу не вижу... А он, сука, упал и заснул на полу. Тут как раз заглянули полицаи – и меня выгнали. Следом зашли врачи, дядю Сашу пьяного подняли – а он весь в кровище уварзался, пока валялся, – и в общую труповозку его потащили... Он проснулся – орёт... Смех!.. Его потом в псарню таскали – думали, он из того подъезда...

Пацан попытался сплюнуть, зависла на губах слюна и долго висела, раскачиваясь.

– И что в итоге? – не сдержался я. – Кто... это... мог?

– И ни хера. Полные непонятки. Главврача и главпацника уволили сразу – хотя чё их увольнять было, с тех пор так ничего и не накопили. Живой только дядя Витя из того подъезда остался, но его в столицу увезли.

– Может быть, слухи какие-то ходят?

– Слухи? Нет. Слухи... У нас тут вечером забежали два пацанёнка с молотком – гвозди вбивали в сарайку, ну, блядь, играли. Так выбежали с перепугу бабки с нашего подъезда, чуть не всемером, пацанков захерачили кто палкой, кто клюшкой – едва не наглухо. Детей боятся! Даже внучков перестали брать на выходные... Хотя и раньше мало кто брал... Опойки, хули... Давай ещё сигарету – и я потопал.

Дал.

Скрипнув дверью, я вошёл в подъезд, принохиваясь. Пахло сухой помойкой.

Квартира номер один, звонка нет, дверной ручки тоже, кстати, нет. Как её открывают – это понятно, я и сам так сделал, навалившись плечом, а вот как закрывают, когда уходят?..

Нет, разобрался – с внутренней стороны двери ручка всё-таки была и на ней висела привязанная верёвка. Тянешь за верёвочку – дверка закрывается.

В квартире было душно, на кровати спала баба при включённом телевизоре. Поправил халат на бабе и двинулся дальше.

“Другой бы изнасиловал...” – посетовал сам о себе, потягивая дверь за склизкий верёвочный хвост.

* * *

Алька как раз вымылась к моему возвращению, гудела феном, отстранённо разглядывая себя в зеркале.

Прямо в ботинках, плашмя уронил себя на широченную кровать. Минуту лежал, глядя в потолок и чувствуя, что Алька посматривает на моё отражение в зеркале.

– Как успехи? – спросила она улыбающимся голосом.

Я достал из сумки блокнот.

Итак, чем мы богаты.

Двенадцать листов мелким почерком, предложения пойти на йух не протоколировались.

“...Сыночек, я тут тринадцатый год живу, и все жильцы у нас одни и те же были весь срок... И дружно жили!.. Кто-то помирал, кто-то рождался, хотя помирали чаще... Кто-то женился... Никого нового сюда не приезжало никогда, никто не подселялся: дом-то сырой, течёт весь, и косой на один край... Мы уж и в администрацию писали, и везде... Никто не позарится на такой дом!.. Ты не из администрации, часом? Запиши моё имя... Нет? А чего пишешь? Из газеты? Ну, сфотографируй дом-то, пусть глядят, как живём... Фотоаппарата нет? Ну и не о чем говорить тогда...”

“...Из полиции? Так вы работайте, коль из полиции. Наверняка эти ублюдки из колонии сбежали. Сейчас этих маньяков везде... Проверяли колонии?..”

“...Всякое бывало тут... Федуня папашку молотком забил, сидит щас... Папашка сдурел после того, как ему Федуня черепуху продолбил, – не помнил ничего... Мой пацан соседской бабе нос сломал, бросил табуретом... Моему пацану её муж ухо надорвал, года три гноилось... Я за то ему... В общем, всякое бывало. А целый подъезд сразу – нет...”

“Так им всем и надо... За что? За то... Надо было с нашего подъезда начать... Мне тут одна баба нравилась из всех. Но она всем нравилась... Кроме баб. Вообще, отстань, у меня дела. Какие? Такие! Иди, а то вдарю сейчас... вот рукой вдарю...”

“...Да, малой, угораздило нас. Я в Афгане воевал, горел в бэтээре, видишь, морда какая палёная? Это ад, парень, когда горит лицо. У нас у всех будут гореть лица... Глаза сгорят...”

Может, это за меня всех остальных здесь наказали? Мы, бывало, тоже... целый аул зараз... Откроешь дверь – кинул гранату – зашёл... Увидел три трупа – вышел... Не слушай её, тварюгу! Рот закрой, тварюга! Был я в Афгане, был, поняла? Не слушай её, тварюгу”.

“Хорошие все они люди были. Ни про кого плохого не скажу. Что ж это за ищады такие пришли к нам? Вы не знаете ничего? Что там следствие? Вы думаете, что мы знаем?... Откуда нам знать!”

“Дед у меня был сапожником, ходил по деревням. Бабка в колхозе. Я сам на машиностроительном. Почти до бригадира дорос. Тогда держали в кулаке. Вши какие были тогда кусачие! Конфету впервые попробовал в школе уже. Капусту ели, и то гнилую. И ничего, в кулаке держали! Сейчас радио послушаешь. Вот, слушал вчера, передавали про этих... Как их, мать их...”

В местной псарне со мной даже разговаривать не стали.

Появился кто-то, по звезде на погоне, шея выбрита так, словно с неё сняли кожу.

“Никакой информации по делу нет. Идёт следствие. Ну и что с того, что журналист. Делайте официальный запрос. Никаких комментариев, никаких. До свидания. До свидания!”

Я захлопнул мягкую пасть блокнота, пахло чистой бумагой – хороший запах.

За плечом появился другой запах – только что высушенные, но у корней ещё сырые волосы. Тоже вкусный. Алька потряхивала свеженадраенной гривой. Показалось, что она сейчас прикусит меня за ухо. Был бы сахар поблизости – покормил бы её с руки.

– Аль, за что ты меня любишь? – спросил я, спрятав ухо в ладони – наваждение не отпускало.

– Какой женский вопрос... – ответила она вполне добродушно.

– Хм... Действительно, – согласился я.

– Я пошутила, – серьёзным голосом сказала Алька. – Женщина этот вопрос задаёт оттого, что сама себя любит. А ты задаёшь оттого, что себя ненавидишь.

Боже мой, Аля, ты умеешь разговаривать, нескладёха моя. Она сама так себя называет – нескладёха.

– Может, мне нравится себя ненавидеть? – осторожно, чтоб не спугнуть её рассудок, внезапно прилетевший и усевшийся на раскачивающуюся ветку, спросил я.

– Не без этого... Но ты мог бы иначе.

“Только не говори, Аля: «...мог бы иначе жить, когда б был со мной»”.

Не сказала.

Птица осталась сидеть на ветке. Ветка качалась.

* * *

Разнообразие, что ли, внести в наше бессмысленное путешествие.

– Есть желание покататься на районных автобусах, Аль? – спросил.

– Есть желание, – сказала Алька, хохотнув в своём стиле.

Мысленно, вспомнив свои детские переезды на междугородных автобусах, я изготавился висеть на поручне, придавленный похмельным мужиком с одной стороны, стосорокакилограммовой бабой из коровника в рабочем халате с другой, слушать крики кондуктора и ещё ошалевшего от тесноты и духоты ребёнка, которого безуспешно увещевает и тискает веснушчатая дебилая девка на задних сиденьях, раздумывая, вытащить ему сиську или не надо.

Но ничего такого: автобус оказался настолько малолюдным, что мы с Алькой залипли в дверях на какое-то время, никак не умея решить, куда всё-таки сесть.

– Вперёд? Не, не надо, там водитель курит, – Алька.

– Сзади просторно, но там трясёт.

Слева какая-то бабка что-то жевала, быстро поглядывая по сторонам; хотелось держаться от неё подальше.

Справа уже сидела молодая пара: дебил в грязных спортивных штанах, неустанно харкавший на пол себе под ноги и громко матерившийся в промежутках между соплевыделением, и его подруга с завитой чёлкой и огромной задницей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.